

ЕВГЕНИЙ
ЕВТУШЕНКО



ИДУТ БЕЛЫЕ
СНЕГИ...



ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5
Е27

Евтушенко, Евгений Александрович.

Е27 Идут белые снеги... : [сборник стихотворений] / Евгений Александрович Евтушенко. — Москва : Издательство АСТ, 2024. — 352 с.

ISBN 978-5-17-162549-8 (С.: Эксклюзив: поэзия)
Серийное оформление и дизайн обложки *Я. Половцевой*

ISBN 978-5-17-135668-2 (С.: Эксклюзив: Русская классика)
Серийное оформление *А. Фереза, Е. Ферез*
Компьютерный дизайн *А. Чаругиной*

«Поэт в России — больше, чем поэт». Такими словами можно охарактеризовать самого автора этих строк, Евгения Евтушенко. Будучи одной из самых выдающихся и неоднозначных фигур на мировой поэтической сцене прошлого столетия, он многих восхищал, других изумлял, некоторых раздражал, но, как точно заметил Булат Окуджава, являлся «целой эпохой».

Его гражданская, социальная и любовная лирика, по которой можно изучать и историю страны, и судьбу нескольких поколений — эпический взгляд на мятежный XX век. Стихи Евтушенко, подкупающие своей искренностью, страстностью и свободным незашоренным мышлением, не утратили своей актуальности и по сей день, а многие были положены на музыку и стали любимыми песнями.

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5

© Е.А. Евтушенко, наследники, 2024
© ООО «Издательство АСТ», 2024

* * *

А снег идет, а снег идет,
И все вокруг чего-то ждет...
Под этот снег, под тихий снег,
Хочу сказать при всех:
«Мой самый главный человек,
Взгляни со мной на этот снег —
Он чист, как то, о чем молчу,
О чем сказать хочу».
Кто мне любовь мою принес?
Наверно, добрый Дед Мороз.
Когда в окно с тобой смотрю,
Я снег благодарю. А снег идет, а снег идет,
И все мерцает и плывет.
За то, что ты в моей судьбе,
Спасибо, снег, тебе.

* * *

К. Шульженко

А снег повалится, повалится...
и я прочту в его канве,
что моя молодость повадится
опять заглядывать ко мне.

И поведет куда-то за руку,
на чьи-то тени и шаги,
и вовлечет в старинный заговор
огней, деревьев и пурги.

И мне покажется, покажется
по Сретенкам и Моховым,
что молод не был я пока еще,
а только буду молодым.

И ночь завертится, завертится
и, как в воронку, втянет в грех,
и моя молодость завесится
со мною снегом ото всех.

Но, сразу ставшая накрашенной
при беспристрастном свете дня,
цыганкой, мною наигравшейся,
оставит молодость меня.

Начну я жизнь переиначивать,
свою наивность застыжу
и сам себя, как пса бродячего,
на цепь угрюмо посажу.

Но снег повалится, повалится,
закружит все веретеном,
и моя молодость появится
опять цыганкой под окном.

А снег повалится, повалится,
и цепи я перегрызу,
и жизнь, как снежный ком, покатится
к сапожкам чьим-то там, внизу.

БАБИЙ ЯР

Над Бабьим Яром памятников нет.
Крутой обрыв, как грубое надгробье.
Мне страшно.

Мне сегодня столько лет,
как самому еврейскому народу.

Мне кажется сейчас —
я иудей.

Вот я бреду по древнему Египту.
А вот я, на кресте распятый, гибну,
и до сих пор на мне — следы гвоздей.
Мне кажется, что Дрейфус —
это я.

Мещанство —
мой доносчик и судья.

Я за решеткой.
Я попал в кольцо.

Затравленный,
оплеванный,
оболганный.

И дамочки с брюссельскими оборками,
визжа, зонтами тычут мне в лицо.

Мне кажется —
я мальчик в Белостоке.

Кровь льется, растекаясь по полам.
Бесчинствуют вожди трактирной стойки
и пахнут водкой с луком пополам.
Я, сапогом отброшенный, бессилён.

Напрасно я погромщиков молю.
Под гогот:
 «Бей жидов, спасай Россию!» —
насилует лабазник мать мою.
О, русский мой народ! —
 Я знаю —
 ты
По сущности интернационален.
Но часто те, чьи руки нечисты,
твоим чистейшим именем бряцали.
Я знаю доброту твоей земли.
Как подло,
 что, и жилочкой не дрогнув,
антисемиты пышно нарекли
себя «Союзом русского народа»!
Мне кажется —
 я — это Анна Франк,
прозрачная,
 как веточка в апреле.
И я люблю.
 И мне не надо фраз.
Мне надо,
 чтоб друг в друга мы смотрели.
Как мало можно видеть,
 обонять!
Нельзя нам листьев
 и нельзя нам неба.
Но можно очень много —
 это нежно
друг друга в темной комнате обнять.
Сюда идут?

Не бойся — это гулы
самой весны —
она сюда идет.
Иди ко мне.
Дай мне скорее губы.
Ломают дверь?
Нет — это ледоход...
Над Бабьим Яром шелест диких трав.
Деревья смотрят грозно,
по-судейски.
Все молча здесь кричит,
и, шапку сняв,
я чувствую,
как медленно седею.
И сам я,
как сплошной беззвучный крик,
над тысячами тысяч погребенных.
Я —
каждый здесь расстрелянный старик.
Я —
каждый здесь расстрелянный ребенок.
Ничто во мне
про это не забудет!
«Интернационал»
пусть прогремит,
когда навеки похоронен будет
последний на земле антисемит.
Еврейской крови нет в крови моей.
Но ненавистен злобой заскоружлой
я всем антисемитам,
как еврей,
и потому —
я настоящий русский!

БАЛЛАДА О ШЕФЕ ЖАНДАРМОВ...

Я представляю страх и обалденье,
когда попало в Третье отделение
«На смерть Поэта»...

Представляю я,
как начали все эти гады бегать,
на вицмундиры осыпая перхоть,
в носы табак спасительный суя.
И шеф жандармов — главный идеолог,
ругая подчиненных идиотов,
надел очки... Дойдя до строк: «Но есть,
есть божий суд, наперсники разврата...» —
он, вздрогнув, огляделся воровато
и побоялся еще раз прочесть.

Уже давно докладец был состряпан,
и на Кавказ М. Лермонтов запрятан,
но Бенкендорф с тех пор утратил сон.
Во время всей бодяги царедворской —
приемов, заседаний, церемоний:
«Есть божий суд...» — в смятенье слышал он.

«Есть божий суд...» — метель ревела в окна.
«Есть божий суд...» — весной стонала Волга
в раздольях истрадавших степных.
«Есть божий суд...» — кандалники бренчали.
«Есть божий суд...» — безмолвствуя, кричали
глаза скидавших шапки крепостных.

И шеф, трясясь от страха водянисто,
украдкой превратился в атеиста.
Шеф посещал молебны, как всегда,
с приятцей размышляя в кабинете,
что все же бога нет на этом свете,
а значит, нет и божьего суда.

Но вечно

 надо всеми подлецами —
жандармами, придворными льстецами, —
как будто их грядущая судьба,
звучит с неумолимостью набата:
«Есть божий суд, наперсники разврата...
Есть божий суд... Есть грозный судия...»

И если даже нет на свете бога,
не потирайте руки слишком бодро:
вас вицмундиры ваши не спасут, —
придет за все когда-нибудь расплата.
Есть божий суд, наперсники разврата,
и суд поэта — это божий суд!

БЕЛЫЕ НОЧИ В АРХАНГЕЛЬСКЕ

Белые ночи — сплошное «быть может»...
Светится что-то и странно тревожит —
может быть, солнце, а может, луна.
Может быть, с грустью, а может, с весельем,
может, Архангельском, может, Марселем
бродят новехонькие штурмана.

С ними в обнику официантки,
а под бровями, как лодки-ледянки,
ходят, покачиваясь, глаза.
Разве подскажут шалонника гулы,
надо ли им отстранять свои губы?
Может быть, надо, а может, нельзя.

Чайки над мачтами с криками вьются —
может быть, плачут, а может, смеются.
И у причала, прощаясь, моряк
женщину в губы целует протяжно:
«Как твое имя?» — «Это не важно...»
Может, и так, а быть может, не так.

Вот он восходит по трапу на шхуну:
«Я привезу тебе нерпичью шкуру!»
Ну, а забыл, что не знает — куда.
Женщина молча стоять остается.
Кто его знает — быть может, вернется,
может быть, нет, ну а может быть, да.

Чудится мне у причала невольно:
чайки — не чайки, волны — не волны,
он и она — не он и она:
все это — белых ночей переливы,
все это — только наплывы, наплывы,
может, бессоницы, может быть, сна.

Шхуна гудит напряженно, прощально.
Он уже больше не смотрит печально.
Вот он, отдельный, далекий, плывет,
смачно спуская соленые шутки
в может быть море, на может быть шхуне,
может быть, тот, а быть может, не тот.

И безымянно стоит у причала —
может, конец, а быть может, начало —
женщина в легоньком сером пальто,
медленно тая комочком тумана, —
может быть, Вера, а может, Тамара,
может быть, Зоя, а может, никто...

БЛАГОДАРНОСТЬ

М.В.

Она сказала: «Он уже уснул!», —
задернув полог над кроватью сына,
и верхний свет неловко погасила,
и, съежившись, халат упал на стул.

Мы с ней не говорили про любовь,
Она шептала что-то, чуть картавя,
звук «р», как виноградину, катая
за белою оградой зубов.

«А знаешь: я ведь плюнула давно
на жизнь свою... И вдруг так огорошить!
Мужчина в юбке. Ломовая лошадь.
И вдруг — я снова женщина... Смешно?»

Быть благодарным — это мой был долг.
Ища защиту в беззащитном теле,
зарылся я, зафлаженный, как волк,
в доверчивый сугроб ее постели.

Но, как волчонок загнанный, одна,
она в слезах мне щеки обшептала.
и то, что благодарна мне она,
меня стыдом студенным обжигало.

Мне б окружить ее блокадой рифм,
теряться, то бледнея, то краснея,
но женщина! меня! благодарит!
за то, что я! мужчина! нежен с нею!

Как получиться в мире так могло?
Забыв про смысл ее первопричинный,
мы женщину сместили. Мы ее
унизили до равенства с мужчиной.

Какой занятный общества этап,
коварно подготовленный веками:
мужчины стали чем-то вроде баб,
а женщины — почти что мужиками.

О, господи, как сгиб ее плеча
мне вмялся в пальцы голодно и голо
и как глаза неведомого пола
преображались в женские, крича!

Потом их сумрак полузаволок.
Они мерцали тихими свечами...
Как мало надо женщине — мой Бог!—
чтобы ее за женщину считали.

* * *

Благословенна русская земля,
открытая для доброго зерна!
Благословенны руки ее пахарей,
замасленную вытертые паклей!
Благословенно утро человека
у Кустаная
 или Челекена,
который вышел рано на заре
и поразился
 вспаханной земле,
за эту ночь
 его руками поднятой,
но лишь сейчас
 во всем величье понятой!
Пахал он ночью.
 Были звезды сонны.
О лемех слепо торкались ручьи,
и трактор шел,
 и попадали совы,
серебряными делаясь,
 в лучи.
Но, землю сталью синею ворочая
в степи неозаренной и немой,
хотел он землю увидеть воочию,
но увидеть без солнца он не мог.
И вот,
 лучами пахоту опробовал,